

Александр Иванович Левитов

Накануне Христова дня

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
А46

А46 **Александр Иванович Левитов**
Накануне Христова дня / Александр Иванович Левитов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 44 с.

ISBN 978-5-4241-3426-5

Александр Иванович Левитов родился в селе Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии в семье пономаря. Учился в Тамбовской духовной семинарии, ряд лет учительствовал на Тамбовщине. Известность Левитову принесли рассказы и очерки о трагических судьбах крестьянской и городской бедноты ("Расправа", 1862; "Мирской суд", 1862; "Бесприютный", 1870). Умер в Москве.

ISBN 978-5-4241-3426-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Александр Иванович Левитов
Накануне Христова дня

Повесть

На дворе стояло то доброе время, которое зовут весной. Давно уж Алексей божий человек всю воду с пригорков в долины согнал, и разлилась она быстрыми ручьями по чернозему необъятных полей, канавы придорожных насыпей вплоть до краев собою наполнила и даже большую дорогу, так и ту всю собой залила. На сельские улицы, без понукальщицы-нужды, выйти было нельзя, потому что, в полном смысле, реки стояли на них, и если к соседу за солью нужно было сходить, так лодка надобилась. Мальчишкам мужицким это и на руку: в чаны да в лотки мукошейные гурьбами насажались, да и показывают, как в старину атаманище страшный — Стенька Разин — город Астрахань брал. Известное дело: многим из них очень явственно приходилось узнавать, как этот злодей-атаманище народ православный в реке Волге топил, потому что флотилия Стеньки была, я думаю, несколько понадежнее корабликов их. Того буря да пушки потопить могли (да лих-беда не топили!), а лоток, чуть лишь с чаном столкнется, ну и ко дну пошел вместе с разбойниками этими, бесшабашными удалцами восьмилетними! Как хотите, а уж тут рубашонку нужно бы переменить, да на теплой печке погреться бы следовало; ан нет — не туда глядишь! Поди-ка ты к матке чучелой таким, с маковки до пят грязью да навозом облепленным, так она небось не пожалеет белые руки свои драньем мокрых вихров натрудить. Так где уж тут к матке на беду свою великую жаловаться да скорбеть идти? В пору б только до гумна успеть добежать, чтоб она не видала. Самому там можно в старую солому зарыться, а рубашонку на яблонь повыше повесил, так она, стриженная девка косы еще не успеет заплесть, уж и высохла.

Так вот видите, как солнце-то припекало: снега, надо быть, поскорей с земли хотело согнать, потому что бог пору такую послал, когда он травке всякой на свет его господний показываться велит.

А назади дворов, где раскинуты были огороды, видно было, как пары густые такие да столбами такими высокими в небушко поднимались, — ровно тысяча изб в одно время топились (так они чистое небо весеннее затуманивали!); а солнце все-таки лучом своим насквозь их прохватывало, и временем можно было подумать, что столбы те огненные, что не свет солнечный в тумане этом блестит, а что это дым и пламя несутся в небо от жертвы, которую богу земля сжигала за то, что он послал ей весну благодатную, цепи с нее зимние снявшую...

Ну и воробьи опять стадами эдакими, штук ста в два и побольше, на избы, на деревья, на риги расселись и чирикают! Рады беззаботные божи и птицы, потому первое дело: тепло, — ветер морозный жидких перьев не дергает, а второе: всякое зернышко на земле издали видно, слети, да и клюй, — не то что зимой, ищи его там по сугробам великим, зноби ножки тоненькие, да, пожалуй, ничего не нашедши, и до гнезда-то своего голодный долететь не успеешь, — сразу вверх ногами мороз перекувыркнет.

И все это на селе чего-то ждало словно, потому страстная суббота была — день печали великой и пощения святого. Седые головы старых большаков и большачих частенько-таки окошечками выдвигаемыми постукивали, на солнышко всё на ясное посматривали: когда-то ты, мол, солнышко, закатаешься? Потому, от самой страшной середи до заката солнца субботнего всякий честной христианин, а паче блюстител и глава семейства, кроме пятаковой просфоры, есть ничего не

моги. Ну оно и того!.. Хотя и теплом пригревает, и лучом солнечным землю подсушивает, а все как-то нет-нет да на небушко и взглянешь, да грешным делом и слабость тебе тут на ум взбредет: хоть бы, мол, сумерки поскорей наступали, звездочки поживей бы показывались, по крайности тогда редечки с кваском хоть бы маленечко похлебал...

На три добрых версты растянулось село, о котором говорю я. И как чудно растянулось — сказать невозможно. Истинно, что ни складу, ни ладу. Говорили про него соседи-мужики шутки ради, что дед его будто из лукошка горстями посеял. Только на самом плане один кабак и стоял; с какого конца в село ни въезжай, отовсюду елка виднелась — и уж ты эту самую елку ни на каком кривом коне, все равно как суженого, ни за что не объедешь. А про избы мужицкие уж и говорить нечего, потому одна из них на самую дорогу, почитай, выпятилась, — всякому проезжему сказать ровно хочет: вишь, хозяин-то мой прошлым годом меня новой соломкой прикрыл да крепкими плахами заново разваленный угол подпер; а другая-то с красной улицы, от стыда, надо думать, на огород убежала, потому развалилась совсем, — одни только навозные завальни ее и поддерживают. Посмотришь на нее так-то попристальнее — видишь, как это она крышей своей растрепанной, головой словно горемычною, машет: нет, говорит, уж куда нам на дорогу-то выходить на людскую?.. Нам бы вот ближе о плетень да об вереву опереться, да без поправки еще годик-другой простоять. Дальше глядишь — и болото тут расстилается, — такая трясина непросушная, что уж на что чушки, а и те в нем в самое жаркое летнее время до смерти закупаются; а за болотом густые ветлы стоят, высокие озерные травы растут (видимо-невидимо в тех травах и деревьях живет разных птиц); а за ветлами садик какой-то аршинный раскинулся; вся его загородь цветами разными как будто бы заткана, так что чуть-чуть лишь виднеется из-за этих цветов гладко причесанная, словно золотая соломенная крыша какого-то домика-клетки. Выстроила себе эту клетку красная девица — святая черница, обо всех нас грешных богомолица, нарочно в таком тихом месте, чтобы спокойней было молодое сердце ее, людского соблазна не видючи, суетой их грешной не прельщаючись...

Никто не мешает, — строй, где хочешь и как знаешь! Прост на этот счет у нас волостной голова. «По мне хоть камыш выжни на острове, да там и селись», — говаривал старик. Птица уж на что глупа, а тоже на старое гнездо прилетает, — значит, она его облюбовала. Поэтому слободской поп всю дорогу палисадником своим и загородил — новую уж дорогу-то через Аринин огород проложили. Огурчики там у него на грядках растут, розы разноцветные на длинных стеблях своих журавлями длинноногими раскачиваются, толстые тыквы плетями своими весь плетень заплели, да хорошенькая дочь по тому ли по зеленому садику частенько похаживает, свою девичью кручинушку разгуливает. Красиво у попа в палисаднике было — словно в раю каком!

Поповым палисадником оканчивалось село. За ним уже начинался посад¹, который во времена оны назывался острожком, несколько позже фортецией, а в настоящее время одни только мужики, без всякого, повидимому, основания, продолжают с упорством обзывать его городом, а изредка даже и крепостью. По сбивчивым и до крайности темным сказаниям, ходящим в народе, в крепости этой стрельцы да казаки пограничные от татар и от своих разных воров отсиживались: в Елец да в Рязань их, разбойников, не пускали. И после уж, когда этот

острожек фортецей назван был, когда могучая рука, всему миру известная², из липецких дубрей стуком топоров, рубивших лес для воронежского флота, воров и зверей расбуряла, около этой фортеции мужичишки и всякие посадские люди весьма селиться стали, потому что сторона была очень привольная: горсть посеешь — воза собирай, рыбы и живности всякой — ешь не хочу. И лес тут же под руками стоит — такой соснячище, что и теперь еще посмотришь, так шапка со лба валится. На пятьсот верст, сказывают, вдаль пошел — много в нем солдатиков беглых и разных бесшабашных голов скитаются. Так-то вот и составилась посад, который теперь видим мы и про который так и в книгах записано и на белой дощечке (при въезде на мосту какая стоит) нарисовано: «Посад Чернополье, Черноземского уезда, содержится иждивением слободских христьян». Подлинное могу вам оказать, кто содержится крестьянским иждивением — мост ли один, или весь посад? Должно быть, и тот и другой, потому что, ежели бы не было, так сказать, приделано к посаду села, о котором я сейчас говорил, то мещанам и купцам посадским совсем некого было бы надувать и, следовательно, как мост должен был непременно развалиться, так и самые торговцы с голоду неизменно бы померли.

Имеется надежда когда-нибудь рассказать вам не только про то, каков посад этот в настоящее время, а даже и про то, каким он в старину был. Все про него со временем расскажу я: как он вырос на безлюдной степи, как валом высоким обкапывался, грудью облюбованную землю как широко отстаивал. Потом, как по тихому Воронежу подплывал к нему на войлоках колдун и разбойник Няян, как он его полоном великим полонял, жен и детей убивал, а молодых к шайке своей безбожной привораживал, как после этого полона царь великий на фортецию с милостями своими царскими наехал и заново всю ее отстраивал, — про все расскажу. А ежели ж по своей великой лени я старые посадские времена как-нибудь промину, зато уж новую нынешнюю его жизнь опишу непременно, потому что все эти недостатки и перехватки мещанской жизни хорошо мне известны.

От недостатков-то этих, а пуще от перехватков, по диким степям могучие силы изнашиваются, широкие груди, с которыми под раскрытыми мещанскими избами люди рождаются, скоро иссушиваются. Под одной из таких-то растрепанных крыш (стащили мы с ней гнилую солому в голодную зиму на корм коровам), вместе с белобокими касатками и серыми воробьями, вырос и я. В такой-то избе, помню я, убивалась и плакала мать моя о том, что ни мужу, ни ей работы нет, детям хлеба нет, а недоимки и сборы разные есть. Из этой избы несли ее, бедную, тяжелым всегдашним страхом за судьбу детей истерзанную, на тихий погост наш, весь заросший высокой травой, весь закрытый густыми ветлами да ивами раскидистыми...

Бог с тобой, душа богомольная, праведная душа! Не знаю, как и отчего ты не умолила бога, чтобы не видать мне еще, к моему великому горю, как из этой же самой избы, по отцову приказу, пошла за немилотою замуж дочь твоя любимая, дитя твое скорбное, забота твоя болезная?..

Много их — этих неизбежных принадлежностей мещанской жизни, — тут их всех не упишешь... Да и писать-то про них не место здесь, потому что про Липатку, чернопольского дворника³, говорить теперь нужно.

Жил-был, изволите видеть, в Коломне мужичок некий, — по части вырезы-

вания кур из садков проезжих курятников безустанно он занимался; только однажды извозчики подкараулили его на работе да на своем самовластном суде так его урезонили, что он от резонных тех чуть-чуть не пошел в мать-сыру землю. Полтора дня на одном месте, без всякого чувства, как собака лежал, и, как теперь сам он полагает, знакомый человек ежели бы его с места этого проклятого не перетасил на другое, оченно в это время околеть бы мог. И думает Липатка после встрепки-то: больно уж под Москвой ноне народ прозорлив стал, ремеслом своим, выходит, заниматься никакими, то есть, манерами невозможно, — душу на нем свою, пожалуй, загубить не мудро. Так-то и выдумал он: дай, говорит, в степь махну, — недаром, мол, про нее говорят: дурацкая сторона. Коли она вправду дурацкая, так я там, по своей уловке, завсегда прокормиться могу. И пошел он в дурацкую сторону сам-друг с женою (лихая бабенка такая, Феклушкой ее по началу-то в Чернополье у нас величали); а про Чернополье-то он прежде от знакомого краснорядца слыхал: глухая сторона, дескать; завсегда там музланов этих, лапотников, без всяких обиняков надувать можно. И держит наш Липатка путь прямо в Чернополье, — верст за пятьдесят от него подводу нанял, чтобы, то есть, приехать туда не только какой-нибудь шаромыжною, а с форцем, как подобает всякому торговому человеку. Приехавши-то, возьми Липатка да к мещанину одному и пристройся (больше все вином он того мещанина объезживал, падок тот человек на винище был); да двор у него постоялый и сними.

Однакож, надо полагать, не шибко бы он на свою коломенскую семитку расторговался, ежели бы на счастье его великое не случилось в Чернополье такого дела: купец тут у нас один жил, и долго жил; а тут, как нарочно, только Липатка приехал, он взял да и помер. Сынишка после него остался (вот ведь купеческий сын, а имени другого никто ему не давал, кроме как Никишка). И был этот Никишка в годах уж: лет тридцати, должно быть, а может, и больше, потому говорю так, что детишки у него довольно-таки крупненькие в это время по улицам бегивали.

Вот ведь говорят же люди: каков поп, таков и приход, каков отец, таков и сын. Нет, видно, и у хороших попов плохие приходы бывают, а у отцов хороших сыновья дурные живут. У хорошего было отца Никишка родился, однакож, правду сказать, дурака такого беспримерного искать да искать надобно было. Только слава, что купец, а купец-то этот ни в дудочку, ни в сопелочку. Покуда молод был, учивал его знатно отец — вся, бывало, рожка-то в синяках; а тут как подрос, туго тоже от него старику приходилось. Рассказывают, коли не врут, не раз батюшке родному сдачи давал — сынок-то.

Развязала молодцу руки отцовская смерть. И на ту и на другую сторону почал он отцовское именье раскачивать. Вот уж справедливо пословица-то говорит: всем сестрам по серьгам. Не токмо что серьгами, а и капиталами от него великими пользовались черницы наши. (На огородах тут у нас живут разные эдакие девки, отшельницы аки бы, — и точно, что иные из них примерной жизни девицы.) А Феклушка-дворничиха, жена-то Липаткина, в это время во всем цвете была. Сядет, бывало, на крыльчке в кумачном сарафане, душегрейку с разводами шитыми наденет, фуляром желтым накроется, да словно картина какая писаная и сидит себе, семечки подсолнечные погрызывает, веселые песни поигрывает. И так она те веселые песни забористо игрывала, что не только что медных, а и серебряных, кажется, жаль бы не было отдать за них, потому разливалась она все

единственно, как теперь соловей-птица темной ночью весеннею под кустом поет. А Никита целый день, бывало, мимо крыльца на рысаке, все равно как молния, жжет: наших, мол, знай, Фекла Ивановна! Ты вот такое-то деревцо срубила б себе — купца-молодца! Ну-кась, говорит, к Липатке-то своему приравняй-ка нас; ан, мол, отмену-то сразу увидишь.

И таким бытовым дело это долго шло; а там, глядь-поглядь, Никишкин рысак целый день торчит у Липаткина крыльца.

Часто это, бывало, починала Феклушка на своем коломенском наречии разжигать Никиту Парфеныча.

— Эх, — говаривала она, — Никита Парфеныч! Насквозь тебя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позабавиться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели взаправду-то любишь, дай займы рубликов пятьсот на торговлю.

— Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублей на ветер бросил, тогда бы по крайности я то удовольствие получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой такой богатый купец я есть — по пятисот на ветер бросает.

— А говорит, что любит, — пытала его Феклушка. — Да ежели бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази, ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбownika, потому не люблю Липатку, — сам знаешь, какой он шут пучеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай. (А чего там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка орудовал.) Я вот Мишку Гривача полюблю, — уж Мишка не тебе и не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак — и хоть што хошь он делай, от себя его не пущу, — и на самом Никите Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.

— Я, — говорил Никита, — я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.

А и змеища же подкольная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков привораживать, — у нас такой никогда и не видывали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, — от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)... Обовьет она, бывало, дурака-то степного — Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масляные, так и светились, кошачьи словно.

В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан — удалцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, — ну, удалцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!

Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеныча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Пробовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выделыв-

вать, да немного этим товаром наторговал, — в пьяном образе с моста в реку бросился. «Что, говорит, без капиталов за жисть! Характеру, говорит, моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить — баран из него шуту добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни, когда на посаде бывает базар, ходят они — внуки миллионщика — да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии — мать их — полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.

Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть — и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчмя головой полетит, — только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, — и тут уж ты над ним смейся сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.

Вглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так смеху-то на свете сколько бы было!

И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, — старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются...

Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семеньчем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит, деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, — так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее пробережешь, тем дольше на верху колеса счастья продержишься. Верно!

И стал наш Липат Семеньч в это время обеими руками жар загребать, — зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошаадьми-то, и сады стал снимать, а главное, у помещиков погорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, — и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребке делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто, словно бы от кузнечной работы... Многое разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Ивановну немецкими платьями изукрашивает.

Только как же это у господ истинно оказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Всё теперь проведали, всё разузнали — и правда, что неизмерима жадность человеческая, аки омут глубокий речной — все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.

Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный

народ! Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)

Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один — владимирец — на постоялый двор въезжать! Знали мы его все в Чернополе, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный — облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать: а молодому дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела — тертый был. «Ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег любви, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают...»

Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись не мало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, — и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как, то есть, он получает ее деньги с него обирать.

Здорово тут владимирец разными обиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабы, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.

Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбродило, — все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать. «Что? говорит: сколько?» — «Да ничего», — Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз-другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один пона-прасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь...» Богобоязлив был очень...

Как ни благополучно, однакож, кончилось у них дело это, — припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!

Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать — и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слышал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, — спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.

— Господи! Кого в такую пору леший принес? — догадывается Липатка сквозь сон.

— Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, — полагала Феклушка.

— У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая — мужа отпирать посы-

лает. Ты зачем работницу отпустила?

— Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена иди дверь отпирать — как же?

— Не бреши, отопру пойду, — сказал Липатка, и так-то ясно заблестал свет серной спички, которую зажег он. Пустырь-пустырем глядела изба постоянного двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, — на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью капли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то — и пойдут тут к тебе в голову разные думы... и тишина это такая в избе стоит, — не жукнет никто, кроме как капли эти всё об кадушку стучаются: «бум», словно кто щелчком в оконницу стукнет, да погодивши немного, опять: «тум-м», окажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице — тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что помотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гоняются, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)... Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силичишься покрепче заснуть, чтобы не слышать и не видеть ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит...

Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит. «Пусти ночевать», орет, — ровно уж там, на улице-то, свето-преставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать, леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще надает; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, дворы постоянные держат всё больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, — ослепнуть можно, глядя на них.

Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать